



**Виктор ХОВИН**

## **В. В. Розанов и Владимир Маяковский**

Я знаю, что те немногие, которые любят, продолжают любить Розанова, и те многие, которые начинают сейчас ценить и любить Маяковского, будут недоумевать по поводу этого странно-неожиданного сочетания:

Вас. Вас. Розанов и ... Владимир Маяковский.

И не только странное и неожиданное сочетание, но и оскорбительное для сторонников того и другого имени.

Что это? Аналогия или, наоборот, противопоставление?

Нисколько.

Они настолько враждебны друг другу, враждебны по темпераменту своему, настолько они обитатели разных планет и существа разных измерений, что ни аналогии, ни противопоставлению здесь действительно, казалось бы, нет места.

Я не скрою от Вас и того, что если б Розанов прочел Маяковского, то он отозвался бы о нем с тем презрением, которое так умел выражать в двух-трех маленьких и незначительных, но уничтожающих и унижающих человека словах; и что если б Маяковский читал Розанова ... но, впрочем, я совершенно убежден в том, что он даже никогда не прочтет его.

Не захочет. Не поймет. Станет скучно.

И, несмотря на это, или, быть может, поэтому я твердо и убежденно заявляю, что Маяковский — это как бы неожиданное отображение одного из рядов Розановских идей, — одного, потому что Маяковский несравнимо уже Розановского диапазона, это как бы своеобразный слепок с одного из прозрений Розанова, нежданное исполнение одного из его мечтаний.

Вина ли Розанова в том, что жизнь так по-свойски расправилась и с его идеями, и с его прозрениями, и с его мечтаниями?

Вина ли Маяковского в том, что он, как в кривом зеркале, отразил некую часть Розановщины?

Но не об их «вине» стоит говорить сейчас, а о вечной правоте жизни живой.

Права она и теперь в этой неожиданной и коверкливой реализации Розановщины в Маяковском.

«Я — самый нереализующийся человек», — говорил о себе Розанов.

И поделом ему, что до известной степени Маяковскому довелось реализовать его.

Спор между Розановым и горделивой российской интеллигенцией, спор между Розановщиной и благородной интеллигентской идеологией всех цветов и окрасок разрешен.

Разрешен самой жизнью. Той невероятной катастрофой, в которую она нас бросила.

И разрешен в пользу Розанова и Розановщины.

Я не знаю, где теперь гордые и благородные обличители Розанова: изменили ли они своим «гуманным» и возвышенным идеям на территории нашей благословенной родины или, переведя их на иностранную валюту, творят свое «великое» дело спасения Культуры на территориях Парижей, Лондонов и Варшав.

Но салом чьих идей и идеологий покрыта сейчас поверхность жизни? И не только нашей, но и всей Европы.

Чей оголенный и непритязательный цинизм блуждает теперь и не только на развалинах России, но и всей Европейской Культуры?

Где тот героизм, который был обещан нам великолепной гуманностью, божественной возвышенностью этих идей и этой Культуры?

«Человек — это звучит гордо!» — было лозунгом всего европейского «гуманизма». Но если этот лозунг попоран ужасными разрушителями мирового порядка у нас, то где же на протяжении всей европейской цивилизации соблюден он?

Мы знаем теперь, как звучит «человек». Знал это гораздо раньше нас и Розанов, этот ужасный «циник», эта безнадежно опустошенная душа, по терминологии тогдашних обличителей.

И не только знал. Но и посмел об этом сказать вслух.

Посмел надсмеяться над парадом величественных европейских идей; надсмеяться над пресловутым европейским «гуманизмом», освященным опереточностью всяческих гаагских конференций.

И не только надсмеяться, но и утверждать какой-то свой «гуманизм». «Циничную», но подлинно человеческую человечность?

— Человек?! О, это звучит совсем не гордо.

— Посмотрите на меня. Какая уж тут гордость!

— «Я не хочу истины, я хочу покоя». «У меня флюс болит». Разрывался в своей откровенности, в разоблачении самого себя, этот великий аскет слова и мысли.

И всей Европейской Культуре, обличающей Розанова, действительно понадобился ужасный злокачественный флюс, чтобы предстать в своем естественном, отнюдь не гордом виде. И это после блестящей мишуры, в которой она покоилась раньше, после всех идеологических и словесных бирюлек, коими украшала себя.

А Розанов только от флюса в потенции бежал и мишуры, и бирюлек.

Утверждал себя во всем своем человечестве и не хотел занимать никаких гордостей и возвышенностей у идей всяческих и в мирах потусторонних.

Понял ложь и фальшь всяческих ценностей, которые не по плечу человеку или по плечу до поры до времени, и пожелал остаться только с тем, за что ответить мог, что всегда б по плечу было.

И Розанов, быть может, первая страница истории подлинного человекоборчества.

Впервые сказанная мысль подлинного гуманизма.

Но только мысль.

Этот самый нереализующийся человек изошел психологизмом открытого в себе подлинного человеческого мира и умер...

И вот пришел Маяковский.

Я всецело предоставляю представителям формальной поэтики изнывать в бесплодных попытках найти и исчерпать Маяковского в его метрике, ритмике, рифмах и тому подобном; я предоставляю им копошиться в дебрях «сюжетосложений» и обнаруживать заведомо и явно без них обнаруженное или заведомо и явно не обнаруживаемое вообще, даже при наличии их трудолюбивых попыток.

Для меня Маяковский в другом:

Я человек, Мария,  
простой,  
выхарканный чахоточной ночью  
в грязную руку Пресни.  
Мария, хочешь такого?

«Я человек»! «Весь из мяса»! — Так и прет из всего Маяковского.

«Я над всем, что сделано, ставлю Nihil».  
Честный?

— Не знаю, что такое честность. И то же самое говорил и Розанов: «Нравственность? Но я не знаю, что такое нравственность. И кто ее папаша и кто мамаша?»

На месте всей культуры, всех идей ее, понятий, категорий, отвлеченностей, формул — одно громадное сплошное и жирное Nihil... и человек.

Правда, он оказался таким громадным, таким жилистым, с вывороченным наружу мясом, с таким трубным, площадным голосом. Таким враждебным бесплотному психологизму Розанова, непохожим на него.

Но зато человек!

Несомненный и подлинно реализовавшийся в жизни человек. А не слова о нем, не мысль о нем.

Самое ценное в Маяковском — его необычайная законченность, это невероятная, небывалая реализация своего темперамента. Начиная от внешности, кончая самым незначительным словом, голосом его, манерой произносить свои стихи.

И это не случайность, конечно, что напечатанные стихи Маяковского производят иное, меньшее, впечатление по сравнению с чтением их самим автором. И наивны те, кто ставит это в минус поэту. Рожденные колоссальным темпераментом, они могут быть выговорены так, как должно, только его темпераментом.

И недаром была ненависть Розанова к литературщине, вечная и неумная борьба его с Гуттенбергом. Недаром все это по своему выражается и Маяковским:

«Книги? Ничего не хочу читать».

«Я думал, книги делаются так»... Но делаются они не так, как хотелось бы поэту.

И если Розанов требовал внимания к интонациям своих мыслей, если настаивал он на значимости и значительности акцента произносимых им слов, то Маяковский тоже не хочет примириться с мертвой законченностью, беззвучностью Гуттенберговского способа запечатления своих стихов, вообще с запечатленностью их, и не мыслит своих слов, произнесенных не его зычным, площадным голосом.

И вот эта ненависть Розанова к литературщине, это вечное препирательство его с Гуттенбергом и дали повод В. Шкловскому в его недавнем докладе о Розанове в поте лица доказывать, что розановское творчество — это не флюида какая-то, не выговаривание какое-то, а литература, с литературными приемами сопряженная.

Пустая затея была. Неблагодарная задача.

Ибо, конечно же; книги Розанова, и «Уединенное», и «Опавшие листья», конечно же это литературное творчество. И поскольку стремился Розанов к выразительности своих слов, постольку литературный прием был в руках его единственным оружием, и оружием, которым владел он вполне совершенно.

И несмотря на то, что все это именно так, — не пустой фразой в устах Розанова было:

«Я думал, что все бессмертно. И пел песни. Теперь я знаю, что все кончится. И песнь умолкла».

Точно так же, как не случайны и слова Маяковского:

«Эта! В руках! Смотрите! Это не лира Вам!»!

«Песнь» умолкла, — но от этого Розанов не перестал быть писателем.

Не лира в руках Маяковского, но он остается поэтом.

Какая уж тут лира!

У Маяковского-то!

Не до «песен» им. Т. е. не до тех старых песен. Иные мотивы, иные слова. По-иному поет душа. И иная душа.

Новые несем земле скрижали  
с нашего серого Синая  
Нам  
Поселянам земли  
Каждый Земли поселянин родной.

Гудит Маяковский.

И вот этот наш серый Синай, вот это новое человецье евангелие с маленькой буквы, рожденное человеком с Пресни, вот это и есть опорная точка нового гуманизма.

Здесь, конечно, прежде всего старая тяжба человека с небом, но нового человека, и по новому выраженная, и о новом.

«Эта вот зализанная гладь, это и есть хваленое небо?»

Негодует поэт так же, как в свое время негодовал и Розанов:

«Нет, уж если поклоняться Голгофе или там страданию вообще, то потрудитесь-ка небеса поклоняться земле; ибо небеса — они какие-то чугунные, или уж очень праведные что ли: не трескаются, не болеют...»

И, быть может, нигде, как в этих словах, не реализовался с такой определенностью, с такой горячностью Розанов, и никогда слова его не были более темпераментны. Дело другого рода, что если у Розанова все это было судилищем, словесной тяжбою, то Маяковский, отнюдь не склонный к словесным препирательствам, просто выпустил пух из пуховиков небесных.

Но было бы невероятной ошибкой предполагать, что тяжба эта происходит только в сфере религиозного сознания. Конечно

же, нет. Это борьба со всякими «выспренностями» и «якобы идеализмом», со всякой «праведностью».

И разыгрывается она отнюдь не в церковном храме только и не вокруг Лика Христа или Бога, а и под недавно еще спокойной сенью храмов Культуры и вокруг той «Иконы», созданной веками человеческой мысли, имя которой — «Культура».

— Против культуры во имя человека, во имя скрижалей сего рого Синая.

И именно во это имя Розанов с таким упорством настаивал на правоте всего человеческого, упорствовал в цинизме своем и из кожи лез вон, чтобы не подумали, что человек — это звучит гордо; так же, как и Маяковский, во стократ циничнее настаивает на том, что

Я площадной сутенер и карточный шулер.

Это еще почище, чем розановский носовой платок, без которого он никак на тот свет явиться не пожелал.

А за поэтами —  
уличные тыщи:  
студенты  
проститутки  
подрядчики.  
Господа!  
Остановитесь!  
Вы не нищие,  
вы не смеете просить подачки!

Небывалое презрение к «подачке», невероятная боязнь чем-нибудь одолжиться у Бога, у небес, у идеологий и поэзии.

И если Розанов, правда, без ножовщины, но так нетерпимо расправлялся с «Культурой» и «Истиной», если футуризм вместе с Маяковским сворачивал голову не только «Культуре», но и ее Великим Представителям, Учителям человечества, то делали они это возмущенные поклепом, пусть трижды возвышенным, на человека и человечность.

А поклеп был ужасный, чудовищный, чудовищно лживый.

И как характерно, что Розанов так негодовал на изгнание торгующих из храма.

Ведь это же быт, это обиход человеческий, так как же осмелились изгнать его? И ведь изгнан он не только из храма Божьего, но книжниками и фарисеями из Храма Культуры. И она, вся эта фарисейская и лицемерная Культура, вся она покоилась на этом пренебрежении к человеку, к его земному обиходу.

Но вот развалился Храм Культуры. Не стало благословенной сени его, куда скрывалось человечество от дел земных, где заимствовало оно те красоты, которые растрчивало потом в путях жизненных. Не стало прохладной сени. Не стало успокоительных красот. Не по плечу оказались они человеку. Не выдержали испытания.

И остался оголенный человек на оголенной земле.

Остался перед скрижалями Серого Синая. И к нему, к этому Синаю, привела его жизнь живая.

Вот почему у Маяковского читаем мы:

Мельчайшая пылинка живого  
ценнее всего, что я сделаю и сделал

или:

А мне сквозь строй, сквозь грохот,  
как пронести любовь к живому.

И это то же, что и неумная любовь Розанова к земному и человеческому за счет праведного и возвышенного.

«Болит душа... Болит душа... Болит душа...» Постоянный refrain розановского творчества.

Болит за то, что больно человеку в мире, больно вещам в мире. Мучится нестерпимую болью жизнь живая.

А Маяковский даже кровавой слюною брызжет:

Голову разmozжу о каменный Невский.

И разmozжит, потому что

Вот — Я  
весь  
боль и ушиб.

Это Вам не абстракции и отвлеченные решения. И это не «проклятые вопросы». И не великолепные постановки мировых трагедий, боль, отчаяние и ужас которых разрешались в спасительных и великолепных, ни к чему не обязывающих катарсисах. И это, наконец, не разрешение «возвышенных проблем», — проблемы Гамлета какого-нибудь. И не отвлеченные вопросы: «куда идет мир»? Или: «что станется в конце концов с жизнью»?

А совсем другие мотивы, совсем иначе поставленные вопросы:

Куда  
Я иду?  
И что делать мне с жизнью  
моею?

Пусть Маяковский когда-то в разговоре со мной, когда я воспользовался «лирическими» цитатами из него о «боли и жизни», старался убедить меня в том, что это — самое слабое в его творчестве. Иначе и быть не могло для него, невысказанного без ножа и кастета.

С другой стороны, если Розанов в письме ко мне старался подойти к футуризму, который в сущности его ни в какой степени не интересовал, вероятно, из желания отдать дань моему увлечению, и ничего не преуспел в этом, так это потому, что действительная динамичная сущность футуризма, его площадной голос и кастет в руках его не могли быть не враждебны Розанову.

На этом я и кончаю свою статью. Но только снова оговариваюсь.

Я думаю, я знаю, что некоторые из Вас, прочтя заголовки моей статьи, подумали: почему «В. В. Розанов и Владимир Маяковский», а не «Владимир Маяковский и Фома Кемпийский», положим. Или: не В. В. Розанов и еще кто-нибудь.

Но, повторяю, не желание провести параллель между Маяковским и Розановым, или сравнить их, или противопоставить друг другу вызвали в жизнь эти страницы.

И отнюдь не намерение, обратившись к самому легкому и недоказательному способу доказательств, т. е. вырвав отдельные цитаты из них, доказать, что Маяковский — продолжатель Розанова или что Розанов — предтеча Маяковского.

Нет. Совсем иное желание.

Желание показать, как в моей читательской психологии сошлись эти два имени. На каком перекрестке своих личных блужданий встретил я их:

Вас. Вас. Розанова и Владимира Маяковского.

25/XII—20 г.

